

УДК 82.09(470)

А. А. Хадынская

Сургут, Россия

**«СОН ВСЕГДА ОСВОБОЖДЕНЬЕ...»:
СИМВОЛИКА СНА В ЭМИГРАНТСКОЙ ЛИРИКЕ
Г. ИВАНОВА**

Статья посвящена символике сна в эмигрантской лирике Г. Иванова. Выявляется связь онейрической символики с акмеистической поэтикой, а также прослеживается функционирование традиций акмеизма в условиях экзистенциального мироощущения позднего Г. Иванова. Определяются вариации онейрических состояний в эмигрантских сборниках: бред, соматическое расстройство, сомнамбулические видения и пр. Определяется двойственность трактовки образа, объясняемая двумя хронотопами, присутствующими в его лирике: петербургским и эмигрантским. В первом из них символика сна оказывается связанной с экфрасисом как органичным свойством поэзии Г. Иванова, что проявляется в живописных отсылках к творчеству любимых им художников. В контексте экфрасистических описаний появляются и многочисленные литературные аллюзии, что совокупно демонстрирует акмеистические установки поэта. В поздней лирике символика сна приобретает экзистенциальную трактовку, сон оказывается связанным с физическим недомоганием и болезненным сознанием поэта-эмигранта, испытывающего острое чувство ностальгии.

Ключевые слова: поэзия русского зарубежья, традиции акмеизма, Г. Иванов, символика сна, экфрасис, экзистенциальное сознание.

В лирике Георгия Иванова, характерного представителя русского зарубежья первой волны, очевидно деление на петербургский и эмигрантский периоды. Свообразной демаркационной линией стал 1923 год, когда поэт оказался, как и многие из его ближайшего акмеистического окружения, сначала в Берлине, а потом в Париже. Петербургская лирика Иванова обнаруживает отчетливо акмеистический характер, становление его как поэта проходило в рамках «цеховых» гумилевских «штудий». Вместе с тем однозначное причисление Иванова к акмеизму представляется дискуссионным, равно как и само понятие этого течения, и перечень его участников. В ранней лирике поэт активно демонстрирует верность акмеизму, разделяя общую идею течения – житнетворчество в лоне искусства. Эстетизация действительности выражается в его поэзии, главным образом, апелляцией к пластическим искусствам и к живописи прежде всего. Красота мира виделась поэту в уподоблении ее красоте искусства, о чем свидетельствуют экфрасистические пейзажи и портреты, напоминающие картины любимых художников: Ватто, Гейнсборо, Рембрандта.

Хадынская Александра Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Сургутского государственного университета (ул. Ленина, 1, Сургут, 628412, Россия, orus2000@mail.ru)

ISSN 2410-7883. Сюжетология и сюжетография. 2016. № 2. С. 56–64.

© А. А. Хадынская, 2016

В эмигрантской лирике тональность восприятия мира меняется, но изменения проступают не сразу. Первый сборник, созданный в эмиграции, «Розы» (1931), имеет отчетливые, начиная с названия, переключки с последним петербургским сборником «Сады» (1921). Основное настроение в «Розах» – ностальгическое, еще не такое мрачное и трагическое, как в последующих книгах, но уже предваряющее «могильный холодок» ледяной эмигрантской тоски позднего Иванова. Начиная с «Роз», в лирику Иванова входит ретроспективная тема, преимущественно в виде отсылок в доэмигрантское (докатастрофическое) прошлое, которое часто возникает в виде грез, воспоминаний, припоминаний, сомнамбулических состояний, полусна-полуяви. Грезы и видения запечатлены и в ранних сборниках поэта, но связаны они в основном с радостными предчувствиями счастья, любви, весны. Смена географического положения поэта привела и к смене хронотопа в лирике: теперь в сознании лирического героя одновременно существуют как минимум два времени и два пространства, Россия и Франция, которые, причудливо перемежаясь, накладываются друг на друга, повергают героя в бредовые состояния, когда сон и явь трудноотличимы друг от друга.

В книге «Распад атома» Георгий Иванов четко сформулировал собственное отношение к известной культурологической оппозиции «жизнь – сон»: «законы жизни тесно переплетены с законами сна» [1, с. 6]. В лирике Г. Иванова сон, по словам Т. С. Соколовой, начинает играть «ключевую моделирующую роль». Исследовательница связывает мотив сна у поэта прежде всего с пространственными характеристиками. Семантическая граница сна и яви определилась еще в его ранней лирике, и все ее виды, как справедливо замечено, «маркируют переходные состояния лирического субъекта»: это рама окна или картины, берег или гавань, линия горизонта, отражение в воде как оптический эффект, театральные занавес [2, с. 74]. С нашей точки зрения, эти приметы явно акмеистического толка.

Акмеистические традиции в лирике Иванова ранее рассматривались нами в специфическом преломлении: в ракурсе обращения поэта к экфрасису как к воплощению пасторали, явившейся у раннего Иванова эстетической «меткой» действительности [3]. Пасторальное начало связано у поэта с собственной интерпретацией Аркадии как рая на земле, с утопическими мотивами и идиллическими образами. В частности, Россия представлена в контексте «народной утопии», с отсылками к лубочной теме (через экфрастическую вариацию Кустодиева), а также к русскому духовному стиху (цикл «Лампада»). В этом нашла отражение романтическая установка Иванова: все эти маркеры, с нашей точки зрения, отделяют у поэта настоящий, подлинно ценностный мир (для акмеиста он видится через призму искусства) от обыденной действительности. Последняя присутствует в ранней лирике гипотетически, лирическое «я» существует исключительно в персональном хронотопе, мир для него фактически равен искусству, и другого он не знает.

В «Розах» ситуация меняется. Как отметил В. В. Агеносов, «романтические образы первых петербургских стихов нужны теперь поэту, чтобы попрощаться с ними, противопоставив им иной, суровый и трагичный мир» [4, с. 233]:

Это уж не романтизм. Какая
Там Шотландия! Взгляни: горит
Между черных лип звезда большая
И о смерти говорит [5, с. 285]¹.

¹ Далее поэтические тексты Г. Иванова цитируются по этому изданию с указанием страниц в круглых скобках.

Литературные сновидения

Мир заявил о себе во всей своей материальности и жесткости. Помножено это было и на тяжелейшую депрессию, которая постепенно захватывала самого Иванова, переживавшего разрыв с родиной как физическую болезнь. Его лирический герой ловит себя на мысли, что постоянно пребывает в странном, нереальном состоянии, одуряющем и бестелесном, и в этот момент мир ощущается им как «нереальная реальность», как пустота, космический звон, «ледяной эфир», и себя герой чувствует растворяющимся в этом пространстве, в состоянии умирания, стремительного падения в небытие. Вектор движения практически всегда направлен именно вниз:

Глядя на огонь или дремля
В опьяненье полусонном,
Слышишь, как летит земля
С бесконечным, легким звоном

.....
Так и надо, навсегда – уснуть,
Больше ничего не надо (с. 256).

В небе, розовом до края,
Тихо кануть в сумрак томный (с. 257).

О наступлении такого странного состояния свидетельствует мотив закрывания глаз, очень частотный у Иванова:

Закроешь глаза на мгновенье
И вместе с прохладой вдохнешь
Какое-то дальнее пенье,
Какую-то смутную дрожь (с. 275).

В глубине, на самом дне сознания,
Как на дне колодца, самом дне,
Отблеск нестерпимого сияния
Пролетает иногда во мне.

Боже! И глаза я закрываю
От невыносимого огня,
И глядят соседи по трамваю
Странными глазами на меня (с. 289).

Лирический герой фиксирует подобные состояния как «минутную смерть», после чего следует возврат к жизни и осознание ее бессмысленности. Иванов словно вторит фетовским строкам: «Я в жизни обмирал и чувство это знаю, / Где мукам всем конец и сладок томный хмель» («Смерти», 1884). Вечером его герой ложится в постель с готовностью умереть:

Иль просто – лечь в холодную кровать,
Закрывать глаза и больше не проснуться (с. 280).

Пахнет розами. Спокойной ночи.
Ветер с моря, руки на груди
И в последний раз в пустые очи
Звезд бессмертных – погляди (с. 283).

Сон сопряжен у Иванова с потерей памяти или ее «расфокусировкой». Герой с горечью констатирует отдаление и стирание милых сердцу образов. В минуты

бреда призраки прошлого являются ему в причудливом, фрагментированном виде:

Я вижу беспаятство или мучение,
Где все навсегда потеряло значение (с. 262).

Все, кто блистал в тринадцатом году,
Лишь только призраки на петербургском льду (с. 287).

Трагичность мировосприятия, характерная для эмигрантского периода творчества, выражается у Иванова в остром осознании энтропии, которой подвергся мир («на осколки жизнь рассыпается»). Глеб Струве в рецензии на сборник «Розы» написал, что поэт подводит к той трагической черте, когда, видя прекрасное в мире, он не имеет больше власти «Соединить в сознании своем / Прекрасного разорванные части» [6, с. 3]. Смерть в этом случае мыслится как единственный способ уйти от разорванной, раздробленной действительности, и сон является эквивалентом ухода.

В следующем сборнике Иванова, «Отплытие на остров Цитеру» (1937), мотив сна явлен в меньшей мере, но интерпретация остается прежней, при этом отчетливо ощущается переключка с «Розами»:

Только темная роза качнется,
Лепестки осыпая на грудь.
Только сонная вечность проснется,
Для того, чтобы снова уснуть (с. 310).

В «Отплытии...» появляется новая вариация мотива сна – «скверный сон», лирический герой словно примеряет на себя положение покойника, которому было не только неуютно при жизни (первая строка стихотворения – «Жизнь бессмысленную прожил...»), но и дискомфортно в его вечном сне:

И ему в земле не спится,
Или снится скверный сон (с. 316).

В первом цикле «Портрет без сходства» следующего сборника «Стихи 1943–1958» образ «живого мертвеца» будет явлен уже с сарказмом и пугающим натурализмом:

Мертвый проснется в могиле,
Смертная давит тоска (с. 325).

Аналогом такого странного персонажа явится лунатик, чье искаженное сознание отражает экзистенциальное мироощущение лирического героя, стоящего на пороге смерти:

Лунатик в пустоту глядит,
Сиянье им руководит,
Чернеет гибель снизу.
И даже угадать нельзя,
Куда он движется, скользья,
По лунному карнизу (с. 341).

Ему вторит образ поэта-полуночника, для которого ночь из блаженного времени рождения стихов превратилась в мучение: и сон не идет, и стихи не пишутся:

Литературные сновидения

По дому бродит полуночник –
То улыбнется, то вздохнет,
То ослабевший позвоночник –
Над письменным столом согнет.

Черкнет и бросит. Выпьет чаю,
Загрезит чем-то наяву.
...Нельзя сказать, что я скучаю.
Нельзя сказать, что я живу (с. 345).

Бессонница теперь становится навязчивым спутником лирического героя («Каждой ночью грозы / Не дают мне спать (с. 334)), каждую ночь он ждет со страхом и словно уговаривает себя:

Жизнь положив на весы,
Вижу, что жизнь мне не так дорога.
И не страшны мне ночные часы,
Или почти не страшны... (с. 332).

Примечательно, что в этом стихотворении речь идет о судьбе эмигранта:

Холодно. В сумерках этой страны
Гибнут друзья, торжествуют враги.
Снятся мне в небе пустом
Белые звезды над черным крестом (с. 332).

В эмигрантской лирике Иванова образ Франции специфичен: он признает ее красоту, находит полезным чудесный средиземноморский климат, но второй родиной она ему не стала, он пишет о ней несколько отстраненно, словно со стороны, осматривая ее критическим взором, постоянно сравнивая с Россией, причем не в пользу первой. В отличие от лирического героя, «спит спокойно и сладко чужая страна» «в этом мире, в котором мы мучимся».

В цикле «Дневник» мотив сна представлен как наваждение, как череда бредовых состояний, сопряженных с физическим недомоганием:

Головокруженье с утра началось,
Всю ночь продолжалось головокруженье,
И вот долгожданное счастье сбылось –
На миг ослабело твое притяженье (с. 392).

На границе снега и таянья,
Неподвижности и движения,
Легкомыслия и отчаяния –
Сердцебиение, головокружение (с. 405).

В таких состояниях герою мерещатся образы прошлого, он словно пытается уцепиться за них, но они ускользают:

Все представляю в блаженном тумане я:
Статуи, арки, сады, цветники...
Темные воды прекрасной реки...
Раз начинаются воспоминания,
Значит... А может быть, все пустыки (с. 431).

Воспоминания часто построены на литературных аллюзиях, причем в сознании лирического героя они всплывают хаотически, дискретно, по принципу «ассоциативного сцепления», и снова в этих снах-фантазиях возникают мечты о смерти как об освобождении:

Если бы я мог забытья,
Если бы, что так устало,
Перестало сердце биться,
Сердце биться перестало,

Наконец – угомонилось,
Навсегда окаменело,
Но – как Лермонтову снилось –
Чтобы где-то жизнь звенела... (с. 421).

Леноре снится страшный сон –
Леноре ничего не снится (с. 306).

Привычным является утверждение о центонности как органичном свойстве лирики Г. Иванова как способе поэтического мышления, как особенности его поэтики. Но нас в данном случае интересует принципиальная позиция лирического героя относительно извечного поэтического тезиса «жизнь и поэзия – одно». Кажется бы, лирический герой отказывается от поэзии в силу ее полной несопоставимости с его эмигрантской жизнью. Рефлексия отравляет ему жизнь, чужие поэтические строки, как наваждение, заполнили его сознание, «выскакивая» всякий раз неуместно, но настойчиво. При этом свое положение герой расценивает с романтической позиции сопоставления поэта и обывателя именно в контексте сна:

...Как я завидовал вам, обыватели,
Обыкновенные люди простые:
Богоискатели, бомбометатели,
В этом дворце, в Чухломе ль, в каземате ли
Снились вам, в сущности, сны золотые... (с. 413).

Аллюзия на известные строки Пьера Жана Беранже в переводе В. С. Курочкина («Честь безумцу, который навеет / Человечеству сон золотой!») отсылает нас к названию стихотворения французского автора – «Безумцы». «Золотой сон» оказывается символом безумия, но не в привычном понимании, а как без-умие, т. е. незнание, «блаженное неведение». Россия, таким образом, становится для лирического героя синонимом «потерянного рая», живущие в ней люди не осознают то, что поэту дано в силу его «сверхчувствования» и «сверхзнания», благодаря пространственному и временному дистанцированию от нее. Из «далека», но совсем не прекрасного, видит Иванов Россию и осознает ее призрачность, поскольку прежней России нет и не будет, а новую «совдепию» он не приемлет. Прежняя Россия распадается в его сознании, теряет целостность, и в минуту отчаяния он готов даже отказаться от нее:

Я вашей России не помню
И помнить ее не хочу (с. 422).

Трагичность своего положения Иванов осознает в полной мере: новой родины в эмиграции он не обрел, а истинная родина осталась только в его памяти, но и она рискует быть утраченной («потерянным раем»), так как память словно из-

меняет ему, сопрягаясь с общим соматическим расстройством. В цикле «Посмертный дневник», коррелирующим с «Дневником», нарастают мотивы физического разрушения, герой словно констатирует смерть при жизни, все чаще фиксируя бредовые состояния. Связь телесного и душевного разрушения в позднем творчестве поэта подробно рассмотрена нами в статье «Поэтика телесности в лирике Георгия Иванова» [7]. Дневная жизнь похожа на «скверный сон», а ночью героя преследует «бессонница, похожая на сон».

Ночных часов тяжелый рой.
Лежу, измученный жарой
И снами, что уже не сны (с. 563).

Избавление ото сна – это признание «мерзкой действительности» и факта собственного дискомфорта пребывания в ней (совсем как у Гоголя – «Как скучно жить на этом свете, / Как неуютно, господа!» (с. 358)). «Скука мирового безобразия» одолела героя настолько, что он рад признать собственное «развоплощение» еще при жизни. Смерть мыслится как освобождение от невыносимого бытия, но и она ожидается как награда, дающаяся не всякому: «Старые счета перебираю. / Умереть? Да вот не умираю» (с. 322)). Существование в «богомерзком Йере» (последнее пристанище поэта) похоже на череду тяжелых бредовых дней. «Золотой сон» (возвращение в Россию) также остается несбыточной мечтой:

Я жил как будто бы в тумане,
Я жил как будто бы во сне.
В мечтах, в трансцендентальном плане.
И вот пришлось проснуться мне.

Проснуться, чтоб увидеть ужас,
Чудовищность моей судьбы.
...О русском снеге, русской стуже...
Ах, если б, если б... да кабы... (с. 555).

Получается, что сон у Г. Иванова символизирует и прежнюю, петербургскую жизнь, и новую, эмигрантскую, все зависит от фокуса рассмотрения. На это же указывает Т. С. Соколова, связывая состояние перехода от сна к яви переключением героя с прошлого к настоящему: «...если за точку отсчета принимается настоящее, то прошедшее видится призрачным... Если за точку зрения принимается прошлое, то ирреальным выглядит настоящее...» [2, с. 160]. Сам Иванов такую расфокусировку объяснял «талантом двойного зрения», который, по признанию поэта, «исковеркал ему жизнь». Сон в последних стихах Иванова становится метафорой поэтического сознания:

Не обманывают только сны.
Сон всегда освобожденье: мы
Тайно, безнадежно влюблены
В рай за стенами своей тюрьмы.

Миллионеру – снится нищета.
Оборванцу – золото рекой.
Мне моя последняя мечта,
Неосуществимая – покой (с. 432).

Словно полемизируя сам с собой (автоцитация характерна для эмигрантского творчества Г. Иванова), в «Посмертном дневнике» лирический герой подвергает сомнению свой же постулат о «жизни-сне» из «Распада атома»:

Если б поверить, что жизнь – это сон,
Что после смерти нельзя не проснуться (с. 565).

Действительность показана у позднего Иванова принципиально антиэстетичной, в противовес ее идиллическому изображению в ранних сборниках («И розу я нашел на тротуаре / И выброшу в помойное ведро» (с. 383)). Хорошо и спокойно было поэту в лоне искусства, составлявшего его жизнь, но последняя явила перед поэтом свое неприглядное лицо и указала на тотальную несвободу – таков удел поэта-эмигранта. Но он, несмотря ни на что, надеется в свой «золотой рай» (Россию) «вернуться стихами». Поэт верит, что душа его, как у Тютчева, «жилища двух миров», найдет свое последнее пристанище в творчестве и, совсем по-пушкински, сможет-таки обрести бессмертие:

А может быть, и мне приснится
Бессмертия сон золотой! (с. 535).

Список литературы

1. *Иванов Г. В.* Распад атома // Иванов Г. В. Собр. соч.: В 3 т. М.: Согласие, 1994. Т. 2.
2. *Соколова Т. С.* Семантическая граница в ранней лирике Георгия Иванова // Вестн. ТГПУ. Серия «Гуманитарные науки (филология)». 2007. Вып. 8 (71). С. 70–75.
3. *Хадынская А. А.* Пасторальная традиция в ранней поэзии Георгия Иванова. Екатеринбург, 2011. 113 с.
4. *Агеносов В. В.* «Мне исковеркал жизнь талант двойного зренья»: Георгий Иванов (1894–1958) // Литература русского зарубежья (1918–1996). М.: Терра; Спорт, 1998. С. 228–248.
5. *Иванов Г. В.* Собр. соч.: В 3 т. М.: Согласие, 1994. Т. 1.
6. *Струве Г.* Заметки о стихах // Россия и славянство (Париж). 1931. № 151, 17 окт. С. 3.
7. *Хадынская А. А.* Поэтика телесности в лирике Георгия Иванова // Вестн. ВятГГУ. 2015. № 2. С. 80–87.

A. A. Khadynskaya

Surgut, Russian Federation

«DREAM IS ALWAYS THE RELIEF...»: SYMBOLS OF SLEEP IN ÉMIGRÉ LYRICS OF G. IVANOV

The article is devoted to the symbolism of sleep in the émigré lyric of G. Ivanov. Connection of oneiric symbolism with the Acmeist poetics is revealed, as well as the functioning of acmeism traditions can be seen in terms of the existential attitude of the late G. Ivanov. Variations

Литературные сновидения

of oneiric states in émigré collections are determined: delirium, physical disorder, somnambulistic visions etc. Duality interpretation of the image, explained by two chronotopes, presented in his lyrics: St. Petersburg and the émigré, is determined. In the first one a dream symbolics is associated with ecphrasis as the organic feature of poetry of G. Ivanov, which manifests itself in the picturesque references to the works of his favorite artists. In the context of ecphrasic descriptions numerous literary allusions are appear, which in aggregate demonstrates Acmeist setups of the poet. In his late lyric a dream symbolics gets an existential interpretation, sleep is associated with physical illness and painful consciousness of émigré poet, experiencing an acute sense of nostalgia.

Keywords: Russian émigré poetry, traditions of Acmeism, Ivanov, dream symbolics, ecphrasis, existential consciousness.

Khadynskaya Aleksandra A. – Candidate of Philology, Docent, Department of Linguistics and Intercultural Communication, Surgut State University (1 Lenin Str., Surgut, 628412, Russian Federation, opus2000@mail.ru)